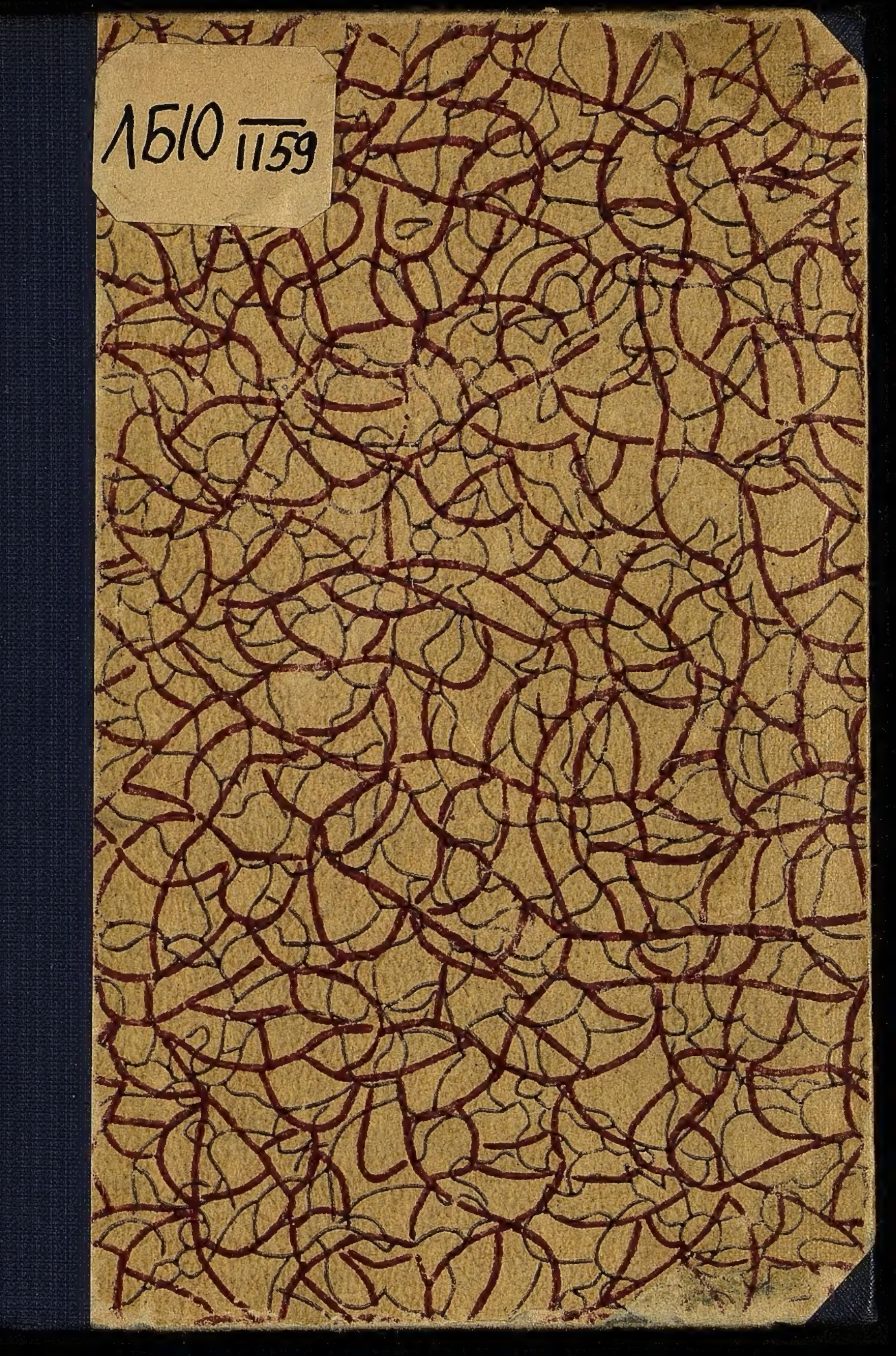
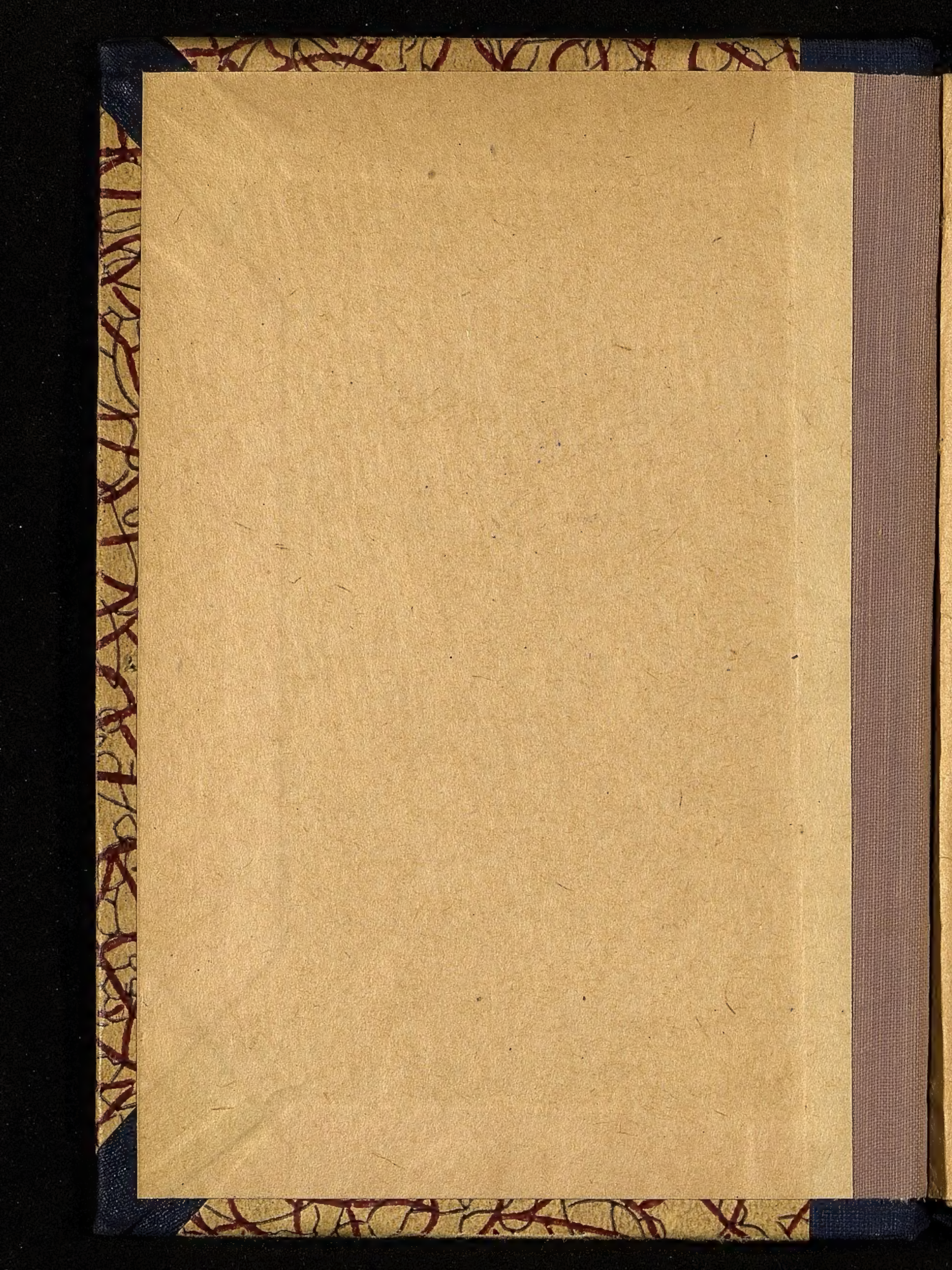
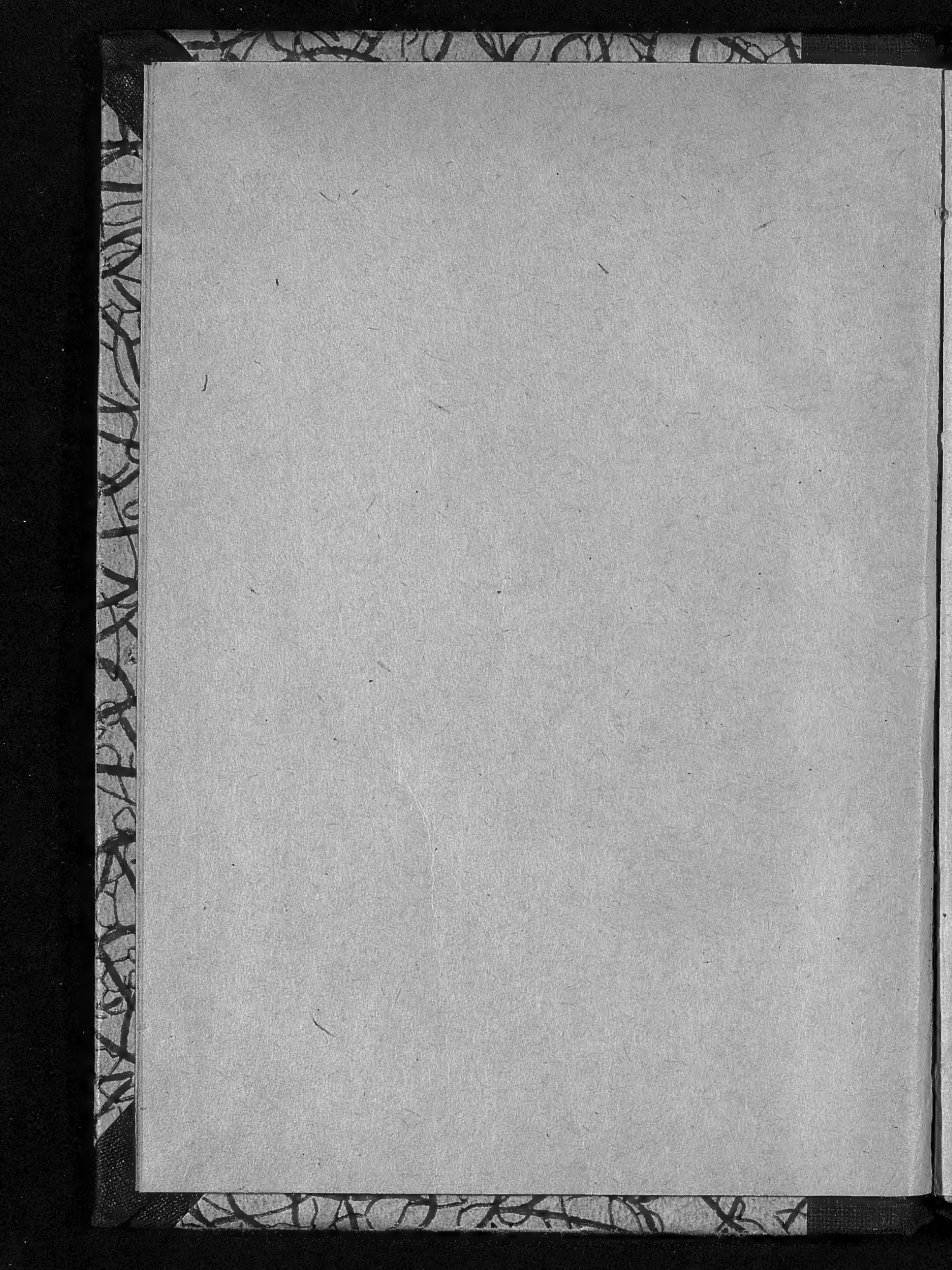


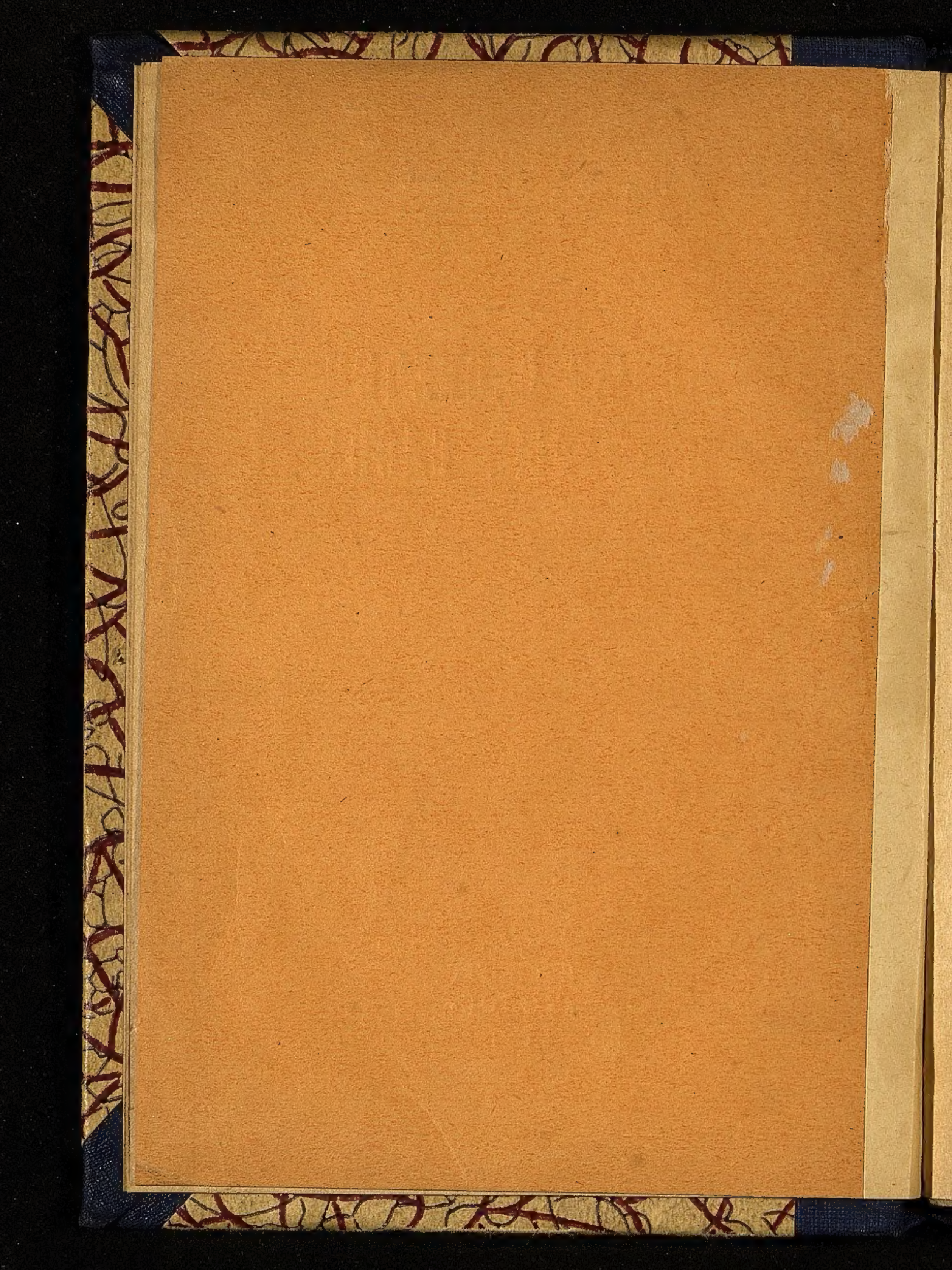




А. Г. ГОРНФЕЛЬД

НОВЫЕ СЛОВЕЧКИ И СТАРЫЕ СЛОВА

ПЕТЕРБУРГ
«КОЛОС»
1922



А. Г. ГОРНФЕЛЬД

НОВЫЕ СЛОВЕЧКИ И СТАРЫЕ СЛОВА

Речь на съезде преподавателей русского языка и словесности в Петербурге 5 сентября 1921 г.

ПЕТЕРБУРГ
«КОЛОС»
1922

Настоящее издание отпечатано в 9-й Государственной типографии в количестве 3.000 экземпл.



Р. Ц. № 557. — Петроград.

I.

Среди прочих современных споров о нашем бытии и благоустроении его с новой силой вспыхнули споры о чистоте и правильности языка. Столетие отделяет нас от Шишкова; за это столетие изуродованный Карамзинскими новшествами и откровенностью натуральной школы, вторжением иностранщины и простонародной грубости, русский язык дал лучшее создание русского творчества, русскую литературу; мы прониклись убеждением, что «такой язык не может быть дан великому народу». Но сетования и обличения, пререкания и нападки продолжаются. Пуристы то яростно негодуют, то презрительно фыркают; улица, которая ниже их негодования, ежедневно выбрасывает в обиход новые словечки; новаторы, которые выше их презрения, то нарочито кривляются, то глубокомысленно сочиняют небывалые речения. В этом кривлянии много противного, в этом сочинительстве мало внутренней необходимости, но противны и националистическое обличение неизбежных и нужных инородных стихий в языке, и неподвижность мысли, отрицающей новое только потому, что оно новое, и барское презрение к вульгарному языку

черни; отвратительна филологическая демагогия и также педантично-безвкусны безтолковые попытки «обрусить» русский язык.

Однако, достаточно взять в руки газету или выйти на улицу, прочитать футуристское стихотворение или просто поговорить с бойким молодым человеком, чтобы слух и вкус ваш ошарашило какое нибудь новое словечко, ни своим звуком, ни своим содержанием не мирящееся с тем, что осело в вас, как впечатление родного языка.

Беру любой газетный лист и читаю: «в целях нормализации профстроительства ком'ячейка призывает к интенсификации партработы...»

Беру любой сборник стихов или прозы и на каждой странице читаю что нибудь вроде:

Сумасшедшая людскость бульвара
Толпобег по удивленной мостовой...

Топокопытит по рельсам трамвай
свой массивный скок
(Шершеневич. Автомобилья поступь).

Или в прозе:

«Свирела свиристель, ликуя веселизненно и лаская птичью душу в игорном деянстве... А мирязи слетались и завивались девинноперыми крылами начать молчать в голубизненную звучаль».

(Хлебников, в «Пощечине общественному вкусу»).

В неостывшем обаянии этой голубизненной звучали выхожу на улицу и слышу обрывки разговоров: «Спекульнул... два лимона... пятьсот косых... реквизнул», «позвольте вам изложить вопиющий факт инцидента», «на танцульку придешь?—ну, даешь» и на прощание: «Пока».

Не надо иметь никакой предвзятой теории о сущности языка, о его назначении и сохранности, чтобы новое, неожиданное в звуковой, в стилистической, в грамматической стороне чужой речи, было встречено, как нечто неподходящее, неподобающее, требующее какого-то оправдания. Язык есть быт, а быт консервативен. Не даром в языке так много выражений вроде «если можно так выразиться», «с позволения сказать», «так сказать» и т. д. При некотором внимании, не трудно заметить, как богата наша повседневная беседа этими оговорками и предупреждениями, что то, что будет сказано, в том или ином смысле с точки зрения языка не обычно, не до конца общепринято, не вполне соответствует правилам языка, словесной традиции, словесной пристойности. Смеется ли безграмотный человек над финном, говорящим «рицать копеек», возмущается ли подкультуренная дама, слышащая от своей кухарки «пойтить с детям», пожимает ли презрительно плечами старый писатель, читая в газете («Правда». 10/V/21 № 101): «О подготовке, ходе и исходе каждой беспартконференции уком должен сообщать в губком, а губком в ЦК»—все равно: в каждом из них говорит не тео-

ретическая мысль, не убеждение, что язык есть нечто, подчиненное строгим непоколебимым законам, а непосредственное чувство, просто задеваемое этой неправильностью.

Возмущаются люди, никогда не думавшие о том, что такое язык и почему и для чего его надо беречь, и с этой стороны хлынувшие столь неудержимым потоком на русскую речь новшества, неправильности, уродства, нелепости, в известном смысле даже полезны: они заставляют людей думать о языке, заставляют осмыслить свое смутное недовольство, проверить и оправдать его. Оправданий этих достаточно. Язык в самом деле есть органическое целое; он есть живой выразитель народного мировоззрения и, давая форму народной мысли, в свою очередь, оказывает на нее могучее влияние. Язык *может* портиться; он может терять свою отчетливость, свою выразительность, свою чистоту. В общем, как все природное, естественное, развитие языка движимо присущей ему целесообразностью; не без некоторого основания указывали на то, что законы биологической жизни, выясненные Дарвином, имеют известное применение и к языку; и здесь есть борьба за существование, и здесь есть эволюция, с нашей точки зрения прогрессивная и регрессивная, и здесь—в сфере человеческого творчества,—в гораздо большей степени возможно вмешательство сознательных усилий. В языке, конечно, есть посторонние стихии и новообразования, которые должно, по возможности, удалять из литера-

турной и разговорной речи; они не вяжутся с составом и строем языка, неспособны к дальнейшему развитию, наводят мысль на ложные ассоциации, наконец, не отвечают особым требованиям благозвучия, свойственным данному языку, и режут ухо, привыкшее даже в совершенно новом слове встречать всетаки нечто знакомое, нечто вполне сливающееся со старыми элементами языка. Естественно, поэтому, тяготение к чистоте языка, к его обереганию от иноязычных влияний, от неправильностей, от непонятных архаизмов и провинциализмов и т. д. Особенно естественно стремление охранить от всего наносного, уродующего, грубого и неблагозвучного речь *литературную*. Язык литературы это высшее проявление человеческого творчества народа, это вместилище и двигатель его художественной и теоретической мысли. Как же не заботиться об этой святыне народной, о ее чистоте и неприкосновенности, как не взывать вместе с Тургеневым: «берегите же наш прекрасный русский язык, этот *клад*, это достояние, переданное нам нашими предшественниками... Обращайтесь почтительно с этим могущественным *орудием*...»

Беда только в том, что язык есть именно орудие, но никак не клад: клад лежит под спудом, а язык должен быть в обороте. И орудие это настолько могущественно, что не в почтительности нашей оно нуждается, тем более, что еще неизвестно, в чьих руках оно полезнее—в почтительных ли руках восторгающегося любителя или в грубых руках ремеслен-

ника. Нельзя умалять значение этого хранителя и ценителя, но обычно его охранительная позиция представляется довольно безплодной и не всегда полезной. Пуризм безсилен в своей наступательности и наступателен вследствие своего безсилия. Это безсилие лишает его и трагичности: чаще всего, даже во внешней мощи насилия, пуризм просто жалок. Он ведет законную борьбу во имя законных целей, но в громадном большинстве случаев он ведет ее дурно: грубо, иногда насильственно и неблагородно, демагогично и, прежде всего, невежественно. На основании двух-трех случайных наблюдений, без всякого углубления в смысл явлений, раздается патриотический, националистический, эстетский, партийный или барственный стон: язык в опасности,—и забивший тревогу может быть уверен, что если не соответственным действием, то во всяком случае вздохом сочувствия откликнутся на его призыв десятки огорченных душ, столь же недовольных новизной и столь же мало способных разобраться в том, что же в ней действительно дурно и что необходимо.

Вот, подобного рода жалобы раздаются главным образом и теперь. Не то, чтоб они были совсем неосновательны; нет, кой в чем правы люди, оскорбленные бурным вторжением грубой и самодовольной новизны в наш язык. Их консерватизм, ежедневно задеваемый неожиданными и неприятными новинками, питается чувством, хоть и односторонним, но здоровым. Только чувство это, не сдерживаемое надлежа-

щими знаниями, не ограниченное подсказанным наукой и здравым смыслом тактом, сплошь и рядом наводит на пути ложные и вредные.

«Мы не перестаем—говорится в журнале «Вестник Литературы» (А. К. «Искалеченный русский язык») — получать жалобы на грядущую опасность для чистоты русской речи, идущую и со стороны осевших на русской территории пленных инородцев, чехо-словаков и возвращающихся на родину русских пленных, изъясняющихся на каком-то варварском русско-немецком или нижегородско-французском наречии. Один автор негодует по поводу уснащения языка блатным, воровским, тюремным жаргоном; другой приводит образчик неприемлемых словечек, просачивающихся в литературу из частушек; третий жалуется на искажения языка, вносимые футуристами и малограмотными переводчиками». По первому впечатлению жалобы и обличения эти кажутся вполне основательными, но достаточно вдуматься в них, чтобы видеть всю их отвлеченность. «Грядущая опасность для чистоты русской речи, идущая со стороны осевших на русской территории пленных инородцев, чехо-словаков»—точно на священной русской территории впервые поселились инородцы. Да они всегда на ней были—и плотными массами, и распыленные, и жалкие дикари, и просвещенные учителя наши. Что же, стал русский язык в общении с ними хуже, слабее, беднее? Мы жили века с татарами, с мордвой и черемисами, с варяжскими завоевателями и грече-

скими просветителями, с немецкими колонистами, с поляками, нас учили немцы, французы, чехи. Мы смеялись над тем, как они уродуют русский язык; особый отдел в популярной юмористике мы отвели анекдотам армянским, немецким, еврейским; в художественной литературе мы сплошь и рядом изображали инородцев коверкающими русский язык, и они его в самом деле коверкали,—и, однако, русский язык продолжал и продолжает быть сильным, выразительным, отчетливым и верным своим законам языком. Пленные, возвращающиеся на родину, конечно, ни на каком «варварском наречии» не изъясняются, все они говорят по-русски, а если тот или иной из трех миллионов некультурных людей, побывавших в неметчине, и усвоил заграницей какое нибудь иностранное словечко или иноязычный оборот, то, прежде всего, обороты эти различны — каждый принес *свою* неправильность — и все это неизбежно растворится, расплывется в громадном океане народной речи. Но вот, оказывается, из этой речи — не то из смрадной атмосферы тюрьмы и каторги, не то из вольного воздуха деревенской шири, оглашаемой девичьими частушками,—просачиваются в литературу «неприемлемые» слова. Почему «неприемлемые»? По непристойности? Но это вопрос нравов; словами, которые никак нельзя произнести в дамском обществе, никогда не была бедна русская литература; от Пушкина и Лермонтова до Льва Толстого и Мережковского русские писатели позволяли себе вольное, грубое,

простонародное слово там, где считали его выразительным. И сам негодующий автор говорит о *блатном* жаргоне. А ведь слово то блатной—самое что ни на есть тюремное, и далеко не все знают, что оно означает; и если обличитель его употребил в литературной речи, то он прав, потому что оно ему нужно, потому что оно хорошо выражает то, что он хочет сказать.

И так чуть не со всеми обличениями в этой области. В них есть маленькая правда, растворенная в большой неправде—все они говорят то, да не то,—а это в области мысли хуже всего. Ибо здесь в оттенках все дело.

II.

Вслушайтесь, например, как обличают новые названия новых учреждений,—разные райпрофобры и политкомы, цектраны и губземотделы и т. д. Слова эти представляются ревнителям истинно русской литературной речи неоспоримо, органически связанными с новым строем. «Это не язык, это большевицкий волапюк, на Западе нет ничего подобного»,—вопят обличители. О старых партийных кличках, как *эсер, эсдек, кадет*, они, очевидно, забыли. О неотторжимой связи новых названий с новым строем можно судить по тому, что задолго до революции такие цветы капиталистического строя, как угольный и металлический синдикаты, назывались *Продуголь* и *Продамета*, а то самое Ленское золотопромышленное

товарищество, на котором разыгралась известная кровавая история, называлось *Лензото*. Были у нас и *Рускабель*, и *Сотим*, и *Вочето*, и *Катопром*, только не столь властные и не столь известные. Но довольно известно — по крайней мере в Петербурге — было «Общество содействия физическому развитию учащейся молодежи», состоявшее под весьма высоким и национально благонадежным покровительством и оффициально именовавшееся — по своим инициалам — *Осфрум*. *Главковерхом* назывался верховный главнокомандующий при царе. Начальник его штаба назывался *наштаверх;* были у него *Генкварверх*, *Огенквар*, *Каваримия* и т. д. Эти обозначения вышли из сокращенных телеграфных адресов, и жестоко ошибаются те, которые видят в этой сжатости, этой экономии звуков и букв, нечто, вызванное стремительностью революции и энергией ее деятелей. Прием этот не русский и не бунтарский, и это понятно, потому что не у нас же родилась эта тенденция к сохранению силы. Она в высшей степени свойственна буржуазной организации, особенно последнего века, и если буржуазный строй выдумал себе на потребу такие сберегатели энергии, как шариковые подшипники и чековый оборот, систему Тайлора и телеграфный код, то, естественно, он усек и длинные названия. И, конечно, именно с капиталистической напряженной действенностью связано то, что пароходное общество Peninsular and Oriental называлось в английском обиходе *Пи-энд-о* (P. & O.), а Hamburg-Amerika-Pa-

cketfahrt-Actien Geselschaft—*Hapag*. Следом за ними и наше Русское Общество Пароходства и Торговли получило название *Ропит*, которое употреблялось и оффициально и в просторечии.

И это, конечно, не свойство капитализма или социализма. Во Франции—не говоря уже о том, что с легкой руки молодежи Латинского квартала Бульвар Сен-Мишель давно уже именуется *Бульмиш*,—Всеобщая Конфедерация Труда часто называется *Се-же-те* а руководители ее *сежетистами;* сторонники же пропорционального представительства (Répresentation proportionelle)—erpeist'ами. Деятели онемечения прусской Польши называются *гакатистами* от фамилий трех создателей этого движения (Ганземан—Кенеман—Тидеман), и из наших газет мы знаем, что современная реакционная «организация Эшериха» называется *Оргеш*.

Таким образом, здесь просто усвоена буржуазная выдумка—не отказываться же от хорошего. Нов не принцип образования этих слов—нова их масса, разом хлынувшая в обиход, нова их обязательность. Их так много, что для них уже нужен толковый словарь—и если можно думать, что многие знают, что такое *мортран* и *госбез, автоконбаза* и *стросвирь,* то не так легко догадаться, что такое *пуокр* или *упвосо*. Людям кажется, что раздражает их некая «неправильность» этих слов, некое нарушение законов родного языка, но это не верно: как всегда, в оскорбительной лингвистической новинке, раздражает скорее то, что

за ними: раздражает, например, ощущение их ненужности. Ибо они создаются во имя некой стремительности, во имя высшей энергии, высшей целесообразности, а жизнь идет через пень колоду, косолапо и несуразно. Сократить слово не штука—было бы для чего сокращать. И нет уважения к сжатому, бойкому слову, когда им названо учреждение неповоротливое и неуклюжее. И в связи с этим выдвигается другое, гораздо более существенное: кажется очевидным, что по лингвистическим путям, здесь намеченным, русская речь не идет: не хочет, не может. В стране с притупленным личным почином, жизнь которой искони в значительной степени определяется начальством, естественно было бы ожидать, что и языковый обиход проявит хоть малое тяготение к этим новым словечкам; но этого тяготения— оно могло бы проявиться хотя бы в попытках самостоятельного творчества—не видно. Изредка позабавятся над тем, что Высшие Женские Курсы—ныне Третий Петроградский Университет—должны теперь называться *Трепетун;* изредка какой нибудь домашний остряк скажет, что русские ученые стали кубистами, потому что их кормит Кубу (Комиссия по улучшению быта ученых)—и больше ничего. «Народ безмолвствует». В конце концов, ему равно чужды Медицинский Департамент или *Комздрав:* их бюрократичность начинается для него с самых звуков их названия. Пока что они не вживаются в ткань языка, не ведут самостоятельной жизни. Они не развиваются

изнутри, не дают новых образований; да и как и куда может развиваться такое чудище, как, например, *упродснабокр* или *губнаробраз* или *окреветутр*. Новые по устремлению, эти слова допотопны по конструкции; неуклюжие, неповоротливые ихтиозавры языка, они неизменно остаются в пределах первоначальной цели, точно это не осмысленные названия, а цифры, нумера, литеры. Их слишком много нахлынуло сразу, этих телеграфных адресов вместо слов; они условны, а живое слово безусловно; они нарочиты, а живое слово стихийно-наивно; в своей массе они не могут войти в быт языка, ими еще нельзя охватить мысль [и уже нельзя пококетничать.] Они не глубоки и не модны. Они остаются в языке инородными телами— и, равнодушный к их бытию, он извергает их по мере возможности.

Пользуясь старым термином, позволю себе напомнить, что в этих новых словах нет ощущения так называемой внутренней формы. Наши слова обозначают нечто потому, что нечто значат; иногда их этимология (то есть предшествующее их значение) нам ясна, иногда темна; но мы знаем, что она есть, что слово имеет корень, из которого выросло. У *Цика* же нет корня. [Нам ясно, что *отмежеваться*,— значит отделиться межой, что *наитие* это то, что сходит сверху, что *окостенеть* значит стать подобным кости; менее ясно, но для филолога приемлемо, что *чан* есть нечто дощаное (дъщан), что *подошва* есть нечто подшитое, что *кичиться* сродно с кичкой

(макушкой или женским головным убором). *Мухомор* это то, что морит мух—это ясно для всякого, живущего в стихии родного языка, но почему *военмор* значит военный моряк? Из осколков слов не делаются живые слова, как из откромсанных частей человека не выйдет живой человек. Потому язык называет власть имущего *главой,* что представление о власти связано в нем с представлением о голове, о разуме; и потому называет людей *просветителями,* что ясен для него переход от света физического к свету духовному. Но главного комисара мы называем *главкомом* и политическое просвещение *политпросветом* только потому, что так установлено, не сказано в свободной речи, а именно установлено. Это много для человека, но мало для языка.

Народу настолько необходима осмысленность слова, что и заимствованное он переделывает, чтобы связать его с каким нибудь смыслом: это есть так называемая в науке народная этимология. Народ говорит *копитал* от слова копить, он говорит *полусадик* вместо палисадник; я слышал слово *кашлюк* вместо коклюш. Царское Село выросло на месте финской мызы Saari-moisi (верхняя мыза) и первоначально называлось Сарское Село; но для народа это было непонятно, и оно стало Царское. Да и сами мы говорим кóлики, производя это от колоть, хотя французское coliques (от греч. kolon) ничего общего с колотьем не имеет.

Нам нужен смысл слова—в новых словечках мы его не получаем. Это одно, разумеется, не влечет за

собою их гибели, они держутся не осмысленностью, а силой. Это не обличение; не язык творит хозяйственные и государственный формы, а в них создается язык. Существо дела здесь настолько важнее клички, что о каждом из этих «рожденных вне брака, но совершенно якобы в оном» могу с легкомыслием И. А. Хлестакова сказать: «пусть называется». Посольский приказ или Министерство Иностр. дел или Наркоминдел—право все равно—лишь бы там дело делалось и нас в обиду не давали. Получал я дрова в *Лидрокопе* (Литейный дровяной кооператив), потом стал получать в *Домотопе*, потом обращен был в подопечные *Петротопа* и право, благословлял бы имя сие, если бы это учреждение грело нас. Ничего не имел бы и против названия *Пролеткульт*, лишь бы в действительности ему соответствовала культура пролетария; но, увы, я в этом названии, девизе и учреждении ощущаю не столько *культуру*, сколько *культ* пролетария, а культ и культура, хоть и происходят от одного корня — вещи разные и иногда прямо враждебные.

III.

Но с тем или иным смыслом, шутя или серьезно свяжем мы новые словечки, повторяю, судьба их будет решаться не одною их осмысленностью, не глубиной, не внутренней значительностью. В жизни языка, как во всяком естественном явлении, за могучей закономерностью и целесообразностью, есть много



случайного, наносного, инородного, и однако, устойчивого. Ведь и последователи Дарвина указали случаи, когда в борьбе за существование выживает не сильнейший, а слабейший, и именно потому, что он слабейший. Нужно ли слово в быту, это решит быт, а не язык, а понадобится оно в быту, не уйдет и из языка. Те сотни слов, которые когда то внесли в русский язык варяги-завоеватели, были для него тоже темны, и *тиун* был также чужд, как *райком,* но слова эти были неизбежны и они остались. И церковные и богослужебные слова, хлынувшие в русский язык с принятием христианства,—сколько было в них *изнутри* понятного? Это были технические термины, и народ говорил клирос и псалтырь, как теперь говорит телеграф и батальон—не потому что он создал эти вещи и эти слова, но потому, что вместе с их названиями явились ему эти вещи. Но исковеркав и обездушив церковные греческие слова, сделав из paramonarios (привратник храма) *пономарь,* из eis polla ete (на много лет) *исполать,* из kyrie eleuson (Господи помилуй) *накуралесить,* из katabasia (нисхождение: песнопения, возносимые обоими клиросами) *катавасия,* язык все-таки сохранил их великое множество—и как они прижились: ангел и панихида, апостол и алтарь, анафема, диакон, епископ и так далее, без конца.

И вот, через тысячу лет после этих колоссальных опытов внедрения в язык неизбежных иностранных слов, пуристы возмущаются натиском ино-

странщины, пишут книги, сочиняют законы. Громадная литература вызвана этими вопросами, целые общественные движения и организации создавались и создаются для охраны языка, правительства вмешиваются в это дело, административным путем вводят новые названия—так у нас было приказано в оффициальном языке непременно вместо *ипотечный* говорить *вотчинный*, так переименованы Дерпт в Юрьев, Гунгербург в Усть Нарову и Петербург в Петроград.

Борьба против иностранных слов может быть кой в чем и основательна, но и она в громадном большинстве случаев прежде всего невежественна. Не стоит говорить о ее шовинистическом неистовстве, о националистических передержках, о ее тупой реакционности и бездарности; повторяю — она прежде всего невежественна. Чтобы неистовствовать против иностранных слов, надо прежде всего не знать очень элементарных, очень известных вещей, хотя бы того, какое множество заимствованных слов считается у нас коренными, народными русскими словами. Их уже нет в словаре иностранных слов, так они обрусели. Но они все-таки чужие. Из чужеземного источника взял русский язык такие слова, как торг, лошадь, коза, кума, ябеда, хозяин, кочерга, казна, молоко; у варягов взяты—суд, корзина, кнут, якорь; у немцев—плуг, меч, буква, блюдо; у татар—сарай, сундук, туман, товар. Селедка слово финское, топор—персидское, ватага—арабское, миска—греческое. Во всем обиходном словаре неразвитого простого чело-

века едва наберется тысяча слов, а в русском языке десятки тысяч заимствований, и это не много, а мало. В той самой статье «Вестника Литературы», о которой шла речь в начале, мы читаем такие жалобы: «Очень часто злоупотребляют у нас заимствованными с иностранных языков словами, которые с удобством могут быть заменяемы русскими. Еще Пушкин негодовал по этому поводу: «Сокровища родного слова для лепетания чужого пренебрегли безумно мы».

Казалось бы, отстаивая русский язык, надо бы чтить Пушкина. Между тем здесь с великим неуважением к поэту в слова его вложена мысль ему чуждая. Прежде всего — Пушкин не негодовал: он *спорил* с этой мыслью: он говорит:

Сокровища родного слова,
Заметят важные умы,
Для лепетания чужого
Пренебрегли преступно мы.

И ряд строк он посвятил именно полемике с этими *важными умами*, в замечании которых к тому же *ничего* не говорится об иностранных словах в русском языке: речь идет о том, читать ли дамам книги русские или иностранные, и Пушкин—полушутя, конечно—склоняется к иностранным. Он часто шутил—и был глубок в своей шутке,—но если уж пользоваться его шутками в обсуждении вопроса об иностранных словах, тот как же забыть:

Раскаяться во мне нет силы,
Мне галлицизмы будут милы,
Как прошлой юности грехи,
Как Богдановича стихи.

Величайший из творцов родного языка, Пушкин был его пламенным любителем и ценителем, но Пушкин совершенно не был противником иностранных слов и иностранных влияний; множество иноязычных слов и оборотов употребил он в своих произведениях, и любители заменять их истинно русскими выражениями, конечно, без труда могут найти им подходящую замену. Но при этой кощунственной замене, что останется от подлинного нашего Пушкина? Как ему были милы граматические ошибки в милых женских устах, так нам не только радостны его дерзания, не только сладостны его ошибки, но подчас законом стали для нашего языка. «Нам не бросаются в глаза галлицизмы, рассыпанные в изобилии в прозе и стихах Пушкина,—говорит автор превосходной русской «стилистической граматики» Чернышев—и не бросаются не потому только, что содержательность мысли и красота образов отвлекают наше внимание от наблюдений за выражениями, но и потому, что большая часть этих выражений и форм вошли в русский литературный язык. Только там, где не произошло такого полного слияния чужого с своим, мы чувствуем неловкость в оборотах речи Пушкина, и чаще всего источник этой неловкости найдется во французском языке. Таковы, на-

пример, *отказал помощь* (avait refusé son assistance); стихотворений, знаемых всеми наизусть и столь неудачно *подражаемых* (imitées) и т. д. *Предшествуем* иконами святыми—это не только галлицизм (précédé), но этот галлицизм взят из «Бориса Годунова» и не только не коробит нас здесь, но наоборот дышит какой то подлинностью величавой русской старины».

Как государственный долг богатых и культурных стран был не меньше, а больше долга нищей и задолжавшей России, так и в словаре немцев больше чужих слов, чем в русском. Товар мелочного лавочника на $^{9}/_{10}$ закуплен на наличные, товар большого магазина на $^{3}/_{4}$ взят в кредит. Дело не в том, сколько заимствовано, а в том, на что и как употреблено заимствование: в языке живом и деятельном, языке сильном и творческом—а иным можно ли считать язык Пушкина и Толстого?—ненужных иностранных слов *нет*. Каждое из них заменимо и каждое незаменимо: все дело в том, как и почему, кем и для чего оно употреблено. Народ не боится заимствованных слов, как не боится усвоенных идей: и то и другое необходимо станет его достоянием, получив своеобразный национальный отпечаток. Было удачно замечено, что «язык не терпит безполезных двойников»: если в языке есть слово даже тождественное с заимствованным, оно получит лишь новый оттенок значения или будет извергнуто. И потому, когда Долопчев, автор очень полезного «Словаря неправильностей в русской разговорной речи» предлагает говорить вме-

сто *антре*—вход и вместо *пардесю*—накидка, то он ломится в открытую дверь: эти слова уж сами отмирают; но когда он предлагает вместо:

оппонировать—возражать,
диспут—спор,
карнавал—масленица,
каннибал—людоед,
эпизод—происшествие, случай,
аналогичный—сходный,
анахорет—отшельник,

то он вторгается в область, совершенно неподчиненную филологическому законодательству. Ибо всякий понимает, что в живой речи *диспут* не то, что *спор*, *эмигрант* не то, что *переселенец*. Вместо римский *карнавал* никак нельзя сказать римская *масленица*, и вместо *эпизод* в «Дворянском гнезде» никак нельзя сказать *случай* или *происшествие* в «Дворянском гнезде».

На известной высоте духовного развития естественно стать пуристом. Очищается душа, и ветхой пеленой спадает с нее юношеская суетность, желание заявить себя самым новым, желание удивить, покрасоваться, пококетничать новым словечком. Человек становится серьезнее и в мысли, и в языке. Он глубже чувствует красоту и силу языка чистого, национально-своеобразного, проникновенно-ясного. Язык, ведь, это не внешнее одеяние мысли, это сама мысль народная, и кто, выражая свою мысль и чувство на родном языке, проникнут ощущением цельности, законченности этого великого создания, в том так естественно

рождается тяготение к чистоте языка, к его отчетливости, к правильности и правдивости. В этом настроении всякий, любящий живое слово, а особенно прибегающий к нему, как к орудию своего мастерства — писатель, ученый, оратор — с особенной чувствительностью относится ко всему в нем ненужному, наносному, преходящему. Поверхностное в языке есть для него поверхностное в мысли, заимствованное слово — если оно не безусловно нужно — кажется ему просто оскорбительно-суетным. Как народное ощущает он свое мышление и в нерушимо народной форме тянет его выразить процесс этого мышления. Большой писатель может просто по богатству и многообразию своей мысли нуждаться в особенно богатой и многообразной палитре и тогда он жадной рукой берет для нее краски отовсюду, и в сокровищнице родной речи, и в доступных ему богатствах иностранных языков. Но кто, кроме тупейшего педанта, решится сказать, что великолепный сочный язык Герцена, пересыпанный сотнями колоритнейших иностранных словечек, таких выразительных, таких всегда умных, таких тонких, что этот язык великого мастера слова не обогащен, а принижен этими заимствованиями. И однако обратитесь к самым лирическим, к самым нежным, самым интимным страницам Герцена, углубитесь в него внимательно там, где он не только блестящий публицист, не только остроумнейший полемист, не только восхитительный рассказчик, но там, где высшего напряжения достигает его глубокая мысль, его

человеческое чувство, его душевные трепетания, там вы не найдете иностранных слов. Там они его коробят, там они ему не нужны. Но только там и только потому, что мысль и чувство его обогащены всей массой языка и языков, потому что он, употребивший в своих писаниях сотни новых иностранных слов, не боится их, владеет ими до конца, знает, где они неизбежны, знает, где они неуместны. Пред лицом этой широты захвата, этого действенного многообразия в отношении к языку, как жалки потуги обрусить *чужой* русский язык со стороны тех, кто *своего* обезвредить от иностранщины не может и не умеет.

Мне как-то пришлось проделать забавный опыт. В распространенной и влиятельной националистической газете появилась обличительная заметка против земства. В отчете губернского провинциального земства по медицинской части газета нашла до сотни иностранных слов, из которых некоторые,—понятные всякому образованному человеку—конечно, кой-кому и непонятны. Это послужило поводом для нападения на земство, отрезанное де от русского языка и русского народа. В ответ я составил список иностранных слов, употребленных обличающей газетой на *одной* только странице, *той самой, на которой напечатана обличительная заметка.* Их оказалось *вдвое больше,* чем в преступном земском отчете, и когда список этот появился в «Русских Ведомостях», даже «Новое Время» почувствовало неловкость. *Лишних* среди этих иностранных слов, конечно, не было: каждое было нужно.

И потому, когда слышишь причитания о том, что русский язык переполнен иностранными словами, то прежде всего испытываешь тихую брезгливость и думаешь о том, что вопить и проповедывать легко, а творить трудно. Иногда иностранные слова, вошедшие в русскую речь, невыносимо тягостны, но чаще всего это не те, что бросаются в глаза, это не модные, звучные, не всем их употребляющим понятные словечки, а слова вполне усвоенные, почти до конца растворившиеся в русской стихии: это очень обыкновенные, незаметные, повседневные слова. Они незаменимы и они непригодны именно потому, что они не стали вполне русскими, а русских на их место нет. У нас, например, нет ничего соответствующего словам, как серьезный, как шатэн, как экипаж, как фамилия, риск, лунатик, юмористический. В словаре их можно перевести, значение их можно объяснить; вырвав из связи, их очень не трудно заменить, как делают разные рецептописатели—заменить чем нибудь более или менее подходящим и вполне русским. Но это «более или менее» никуда не годится там, где все дело в тончайших оттенках ощущения. В десятках случаев *нельзя* пользоваться этими словами: нельзя, например, передавая европейского классика, отделенного от нас веком-двумя, употребить слово «серьезный» — нужно чисто русское слово. И его нет, и таких примеров сотни. А пуристы стонут о том, что улица сочиняет такие слова, как ухажер и танцулька. Пусть сочиняет: это значит, что она живет. Пошлость есть в

этой жизни—это несомненно; но жизнь есть в этой пошлости—это гораздо важнее.

IV.

Когда мы говорим о жизни языка, о рождении новых слов, мы все останавливаемся на острых *событиях* этой жизни, а не на ее великом, медленном, все создающем быте; мы все связываем с отдельными попытками создать слово, оцениваем эти попытки, боремся с ними, то с ненужным иностранным словом хвастунишек, которые «хочут свою образованность показать», то с нелепыми словечками сочинителей, показывающих свою неустрашимость. Мы приветствуем, как некий подвиг, удачное слово, созданное писателем. А, в сущности, язык так мало чувствителен к этим малым победам и малым ущербам, точно и знать о них не хочет.

В широких кругах принято думать, что новые слова—и слова остающиеся—создаются выдающимися творцами, и нередко в сочинении того или другого словечка усматривают право сочинившего их на память и благодарность потомства. Но именно в этой общей грубой форме это неосновательно. Чуть не у каждого крупного писателя есть новые и иногда превосходные слова, которые так и не вошли в речь, не привились. Прививается—даже в области языка—другое, и заслуга писателя не в непосредственном обогащении словаря. Остановимся для примера на Достоевском. Известно,

как он радовался тому, что ввел во всеобщее употребление слово *стушеваться*. Особую главу об этом он написал в «Дневнике писателя» и, конечно, не только для будущего ученого собирателя русского словаря, но для себя прежде всего. «И если я читателям теперь надоел, то за то будущий Даль меня поблагодарит. Так пусть для него одного и написано. Если вы хотите, то *для ясности* покаюсь вполне: мне в продолжение всей моей литературной деятельности *всего более* нравилось в ней то, что и мне удалось ввести совсем новое словечко в русскую речь, и когда я встречал это словцо в печати, то всегда ощущал самое приятное впечатление». Но ведь не только в этом случае употреблял Достоевский в литературе слова, взятые откуда нибудь—из провинциального говора, или из народной речи, или из иностранных языков. Много ли осталось этих слов в обиходе? Рядом с заметкой о глаголе стушеваться — статейка об употребленном Достоевским словечке *стрюцкий*, и он выражал даже некоторую надежду, что ему удастся привить и это простонародно-петербургское слово. «В Петербурге,— говорит Достоевский, очень много наплывного народа из губерний, а потому довольно вероятно, что словцо может перейти и в другие губернии, если еще не перешло. Войдет, может быть, и в литературу: кажется, и другие писатели, кроме меня, его употребляли. В этом слове для литератора привлекательна сила того оттенка презрения, с которым народ обзывает этим словом именно только вздорных, пустоголовых,

кричащих, неосновательных, рисующихся в дрянном гневе своем дрянных людишек». И вправду отличное словцо—и такое у нас нужное. И, однако, *стрюцкий* как был в городских низах, так и остался, и не только общеупотребительным, но, кажется, и общепонятным не стал.

Но не только готовые и уже принятые слова применял Достоевский; он не раз сочинял свои слова и подчас очень удачные: он их не ввел в литературу. Спокойно не говорили ни он, ни его герои, а в состоянии волнения, когда главное высказаться, естественно сказать первое попавшееся слово, и если нет готового, то свое составить, сочинить, выдумать. «Тьфу, *срамец треклятый*, больше ничего»!—восклицает Бахчеев в «Селе Степанчикове». — «Нечего тут *подробничать*» — говорит Свидригайлов в «Преступлении и наказании»—и тут же полубезумная жена Мармеладова собирается непременно срезать *расфуфыренных шлепохвостниц* — где, очевидно, вне всякого сознания так прелестно слились воедино шлейф и шлепать—«Знаю, что вы на меня за это быть может рассердитесь—отбивается подпольный человек от предполагаемых оппонентов—закричите, ногами затопаете: «говорите дескать про одного себя и про ваши мизеры в подполье, а не смейте говорить «все мы». Позвольте, господа, ведь не оправдываюсь же я этим *всемством*».

Человеку нужно слово, оно наивно, стихийно, легко срывается у него с языка; он даже не знает,

не задумывается, слышал он его или сочинил: оно понятно ему, оно понятно его собеседнику—чего еще? Прошла квартирная хозяйка в куцавейке, и Коля Иволгин так естественно, как будто это выражение закреплено в академических словарях, говорит князю Мышкину: «я познакомлю вас с Ипполитом,—он старший сын этой *куцавеешной* капитанши». И сам Достоевский, посвятивший такие великолепные замечания именно трудности облечь свою мысль в слова, поступает таким же образом. В молодости, торопливой и тревожной, в письмах к брату он говорит: «не вижу жизни, некогда опомниться, наука уходит за *невременьем*», и тут же, «волнуясь и спеша», он рассказывает ему о том, каким богом ему кажется Шекспир сквозь туман *драматургов-слепондасов*. Слепондасы молодого Достоевского стоят шлепохвостниц его Екатерины Ивановны, не правда-ли? Но вот он вошел в литературу, и у него постоянно также легко и свободно срываются такие выражения, как «работа малярная, *вывескная*», как «период нашей истории европейский и *шпажный*», адвокату «уж нельзя *белоручничать*»; о раздражительной молодой женщине он говорит: «зла и *сверлива*, как буравчик». Ни тени натуги, сочинительства, выдумки нет в этой новизне; даже не приходит в голову, что это новое,—однако, словари времени Достоевского этих слов не отметили; не из быта, не из обихода он их взял, а создал для своей надобности.

Его противник говорит о праздной и неразвитой

молодежи, у Достоевского немедленно являются «лентяи и *недоразвитки*». Не нравится ему положение на русских окраинах—он говорит о «себе на ус мотающих *окраинцах*». Жорж Санд для него «одна из самых ясновидящих *предчувственниц* (если только позволено выразиться так кудряво) более счастливого будущего, ожидающего человечество», а пока что Европа безучастно смотрит, как «десятки, сотни тысяч христиан избиваются как вредная *паршь*». Большинство этих слов чрезвычайно удачно; все они—на своем месте просто неизбежны, а очень многие весьма выразительны и вполне были достойны того, чтобы стать общим достоянием. У Достоевского их много еще: он говорит о «законодателях и *установителях* человечества», о безжалостных *посягновениях*, о том, что католицизм—это слово он употребляет в переводе из английской статьи — «есть самое устойчивое, самое *благоразмерное* из зданий, созданных человеком», и что на палубе пассажирского парохода, вне железнодорожной спешки, «вы не принуждены обнаруживать иные ваши инстинкты в виде натуральном и *уторопленном*».

И если нужен пример, с какой легкостью бросал Достоевский небывалые, но нужные ему слова, то вот на том-же пароходе с ним едет «немец-доктор с семейством, состоящим из его муттер и из трех *германо-косоротых* девиц, на которых трудно, чтобы кто нибудь из русских женихов мог польститься». Эти германо-косоротые девицы — верх выразитель-

ности; в безсмысленном, в сущности, словечке—сколько безотчетного презрения, сколько яда национального самодовольства. По истине надо было быть таким гениальным злюкой, чтобы влить такую массу эмоционального напора в безшабашное, мимолетное словечко. Ну, это словечко, действительно, мимолетное и пакостное, но среди прочих—сколько ценных, и умных, и нужных, но обиходными они не стали, и по прежнему, натыкаясь на них у Достоевского, мы чувствуем их новизну. Уже из этого можно видеть, как неправильно оценивать заслуги писателя по введенным им в язык словам. Из последователей Достоевского десятки удачнейших словечек бросил Розанов, так напоминавший в стиле своего учителя именно этим разговорным приемом, этим ораторским письмом, этим сочетанием в языке наивности, стихийности с неизменным себе на уме. Не станем останавливаться на словечках Розанова, но вот для примера хотя бы одно случайное. О некоторых группах русских инородцев он сказал, что они очень способны раствориться в русской народной массе, что они *сливчивы*—и это удачное словечко так и осталось где то, не в обиходе, а в затерянной газетной статейке.

Как известно, Даль со всем своим чутьем русского языка не смог ограничить себя в своей лексикологической деятельности; он не удовлетворился тем, что отмечал и объяснял слова существующие; враг ненужной иностранщины, он предлагал свои русские

слова; он хотел, чтобы вместо pendant говорили *сдружка* или *противень*, вместо демократия — *миро-* *управство*, вместо автомат—*живуля*, вместо горизонт— *небозем* или *глазоем* и т. д. У Даля были неудачные предложения—вместо алкоголь—*извинь*, вместо антикварий—*древник*. Но были ведь и удачные—и ничего из этой удачи не вышло.

Однако, из этого следует ли, что Достоевский в развитии русской литературной речи,—и шире, в развитии общенародного русского языка, — прошел безследно? Разумеется, ни в каком случае. Пусть не привились слова—привились обороты—пока в критике Достоевского (бездны падений, безудерж желаний, инфернальная женщина, неприятие мира, карамазовщина), а главное, несомненно, повлиял ритм речи Достоевского, тонкости его стилистики, его *разговорное письмо*, его лихорадочная и столь выразительная обрывистость.

Так как мастерство поэта есть мастерство формы, то при оценке его обычно забывают, что мастерство это заключается не только в том, чтобы творить новые формы, но и в том, чтобы их не творить, чтобы обходиться без новых слов, выразить новое в формах готовых и только в мало заметных прорывах, в тонкой молекулярной работе преобразить эти формы. Чары искусства одновременно и в создании нового, и в подчинении старому. В этом великое сходство искусства с игрой, но и великое различие. Ибо создание искусства, нарушая свой закон, может тем

самым творить закон новый, игра же, выходя из своего закона, становится безсмысленной. Не трудно выиграть в шахматы, если накануне поражения получишь от счастливой случайности новую фигуру. Но смысл игры именно в том, что эта случайность немыслима, что закон игры незыблем, нарушение его лишает игру смысла. В искусстве есть та же необходимость, и лишь комбинации в пределах закона лишь изобретение в границах старого есть подлинная новизна в искусстве. Но здесь есть прорывы, и здесь жизнь идет различным темпом. Иногда мы имеем органическую реформу, иногда попытку революции. Реформа может быть великой, революция может быть ничтожной, но все равно—стремительность их различна, различно отношение к прошлому и традициям; «Анна Каренина» Л. Толстого значительнее, чем «Петербург» Андрея Белого — значительнее не только по лепке человеческих образов, но и по словесной ткани—однако в «Петербурге» стремление обновить литературную языковую форму отчетливее, очевиднее, настойчивее.

V.

На наших глазах, можно сказать, произошел—и уж не первый—прорыв словарного языкового фронта. Язык, создание органическое, исполинское, многообъемлющее, живет обычно спокойной, степенной жизнью. Он развивается медленно и последовательно,

и в каждый данный момент его движения не видно, как непосредственно не видно движения часовой стрелки, хотя она движется. Но и здесь—как во всем на свете — бывают толчки, бывают стремительные переходы. Новые условия разом преобразуют жизнь— поскольку она поддается преобразованию, новые понятия уж не постепенно, а сразу, массами вторгаются в жизнь, новые ощущения повелительно требуют новой формы—и новые слова, новые обороты, новые выражения неудержимым потоком низвергаются на язык. На переломе между XVII и XVIII веками такое вторжение новой западной культуры испытал столь долго невозмутимый стародавний русский быт, и мы знаем, как эта Петровская революция сверху отразилась на русском языке, мы знаем, каким потоком хлынули к нам иностранные слова; в начале XIX века в других формах произошло то же самое. Не было революции политической, бытовой, но напряжение культурного перехода было чрезвычайно. Душевная жизнь высших классов испытывала величайшее напряжение. За век обновленной духовной жизни назрело ощущение, что дело Петрово не доделано, обновление неполно, что не только политической свободы не хватает, но что индивидуальная творческая мысль бьется в тисках стародавних условностей, что осложненная психика должна найти новые формулы для своего выражения, одновременно чрезвычайно простые в сравнении с недавней риторической напыщенностью и в то же время чрезвычайно

сложные в сравнении с грубостью, элементарностью чувств и мыслей, выразившихся в этих затейливых и безпомощных формах. Мы знаем, что тот самый Тредьяковский, над корявыми лирическими и анакреонтическими попытками которого мы так весело смеемся до сих пор, писал по французски нежные мадригалы во всяком случае не хуже среднего современного ему салонного птиметра. Так от его карикатурности мы пришли через Державина к Батюшкову и Пушкину, и стремительность этого обновления языка явствует уже из того пыла, с которым Шишков ополчался на Карамзина. Но новизна победила: между Пушкиным и Державиным, между Карамзиным и Радищевым—пропасть. И язык Пушкина остался нашим литературным языком; в течении трех четвертей века мы не замечаем никакой стремительности в обновлении языка, никакой попытки языковой революции. Такие попытки принес опять перелом между двумя веками. Тенденция символистов была, как мы знаем, прежде всего формальная. Мы сводим теперь декаденство к более широким историко-культурным первоосновам, мы видим в нем отображение наростающего—быть может в последней схватке—индивидуализма, мы чувствуем здесь разнообразные проявления отказа от идейного наследства шестидесятых годов, но мы не будем забывать, что в литературе эта смена мироощущения прежде всего пыталась выразиться в смене литературных приемов, в обновлении языка. Правда, новых слов здесь было

немного: внимание было больше направлено на новые стихотворные формы, на обогащение ритмов, на обновление метафоры. Новые образы и новые обороты настолько мало отражались собственно на словаре, что, например, один из панегиристов Брюсова (М. Гофман) со всей определенностью заявляет: «нам не попадались «неологизмы» Брюсова». В общей форме это не совсем верно—есть у Брюсова и «предзакатный румянец» и «прерывные речи» и «огневеющий день», достаточно новых слов у Бальмонта, у Вячеслава Иванова; но, несомненно, что в символизме обновление словаря совершалось не посредством изобретения новых слов, но посредством нового их употребления, посредством расширения их подвижности. Достаточно указать хотя бы на новое, необычное пользование множественным числом у Брюсова.

Первые *дымы* встают над домами

или:

И вкруг все темно и пустынно
Ни *светов*, ни красок нет

или:

Но кто готов отвергнуть *миги*

или:

Обряд застывший в *пышностях* старинных

или:

Приидут дни последних *запустений*.

Если стремление к обогащению словаря проявилось в поэзии символистов не в столь сильной сте-

пени, то господствующим оно явилось в теории и практике футуристов. «Мы *приказываем*—говорится в «Пощечине общественному вкусу»—чтить *права* поэтов: I. На увеличение словаря в *его объеме* произвольными и производными словами (слово-новшество). 2. На неопреодолимую ненависть к существовавшему до них языку». И, вот, именно пример футуристов с наибольшей очевидностью указывает на ограниченность усилий насильственно обогатить словарь—хоть бы даже только словарь литературного языка. Надо ведь помнить, что литературный язык есть лишь часть общего живого языка; это как бы некое наречие в пределах общей речи, это язык особых форм мысли, особой группы. Попытки новообразований в нем, правда, труднее, потому что он больше связан с устойчивой традицией, больше обращен к прошлому. Но зато язык литературы ведь есть язык письменности, новое слово, сказанное в нем, закрепляется в печати, распространяется, обсуждается, а не уносится ветром, как словечко брошенное в живой речи. И нет нужды напоминать здесь о том, с какой массой разнообразнейших словесных новообразований выступили футуристы всех величин и толков от Бурлюков до Маяковского, от Игоря Северянина до Крученых. Пожалуй, целый новый том Даля могли бы заполнить эти полчища новых слов, таких бойких, таких громких, таких иногда—говорю это без всякой иронии—удачных, ловких, нужных. Но не понадобится этот новый том Даля, потому что словарь Даля есть словарь

живого великорусского языка, а эти словечки не очень живые. Ведь и эсперанто тоже и нужный, и удачный, и разумный язык — только не живой. И наиболее явственные, наиболее еретические новшества Бальмонта уже устарели, уже отжили. Каким новым словом казались некоторым разные навязчивые звучности Бальмонта,—и как теперь несерьезны, мелки и пошловаты эти прикрасы. «Чуждый чистым чарам счастья черный челн» или «Я душою ловил уходящие тени». Это звучит теперь... скучно, звучит, как «Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат».

И даже:

За пределы предельного
К безднам светлой безбрежности,
К ненасытной мятежности,
В жажде счастия цельного...

Какая провинция! Это как прокламация: было звонко, было звучно, но отзвучало—и вновь не зазвучит. А Тютчев звучит незаглушимо...

Не на много успели мы отойти от победоносного набега, который совершили, скажем, словесные неистовства Игоря Северянина на русскую литературную речь. А много ли осталось от них в языке?

Я—год назад—сказал: я буду,
Год отсверкал—и вот: я есть.

Но отсверкало еще несколько лет,—что уцелело от словечек Северянина? Разве что действительно превосходное слово *бездарь*—да и оно, кажется, уже поте-

ряло самое привлекательное в нем—уловление именно собирательности, и обозначает не столько коллективную, массовую, распыленную и, однако, сплоченную бездарность, сколько просто отдельного бездарного человека. Кой что повторяется в шутку: скажут с насмешкой «поэза», вспомнят, что «в стране, где центрит Надсон», «популярил изыски» «оэкраненный» поэт «грезерок» и «сюрпризерок»—и все это с усмешкой, все это не всерьез. Пошутят и забудут,—и забудут прочно. А как много было насочинено новых слов—неужто для того, чтобы так быстро и так безболезненно унесло их забвение? Одни глаголы на *о*, типа *окалошить* и *обрилиантить*, у Северянина чего стоят. Нового в этих глаголах нет ничего, в языке их и до Северянина было сколько угодно. Ново было только их количество, пожалуй, их навязчивость и явное отсутствие внутренней необходимости. Здесь и *одебренные* леса, и *опрозаиченная* земля, и *орозенные* язвы, здесь *офиалчен* и *олилиен озерзамок* Мирры Лохвицкой. Но в нашей повседневной речи таких глаголов много больше: мы говорим ожениться и овдоветь, образумить и огородить, обольстить и одеревенеть. И если заглянуть в Даля, то мы найдем колоритнейшие глаголы на *о*, которые настолько хорошо забыты, что их можно вправду принять за сочиненные Игорем Северянином. Здесь есть *обрачить* и *овельможить*, *озвездить* и *оглавить*, *онебесить* и *опалачить*, *обоярить* и *орабить;* здесь о народе, обступившем кого то гурьбой, говорится *огурбить*, а в смысле сделать кого

самостоятельным говорится *осамить*. Естественно, что, когда надо было Жуковскому, он свободно говорил о ветках *ожемчуженных* дождем или о луге *осеребряемом* росою, а Чехов писал, что он *оравнодушел* ко всему—и никого это не удивляло. Почему же современный читатель до такой степени обалдел (великолепный глагол от слова *балда*), что один литературный обличитель ставит Северянину в укор слова *озверить* и *отсверкать*, хотя слова эти *есть* в словаре Даля. Это только оттого, что оно ворвалось такой массой, так неоправданно и самодовольно, что здесь-же визжали и *лиризы* и *грациозы*, и *лилиесердые* герцоги, и *снегоскалые* гипнозы; тут же взметались такие наречия, как *негно* и *улыбно*, как *майно* и *грозово*, такие глаголы, как *качелить* и *хрусталить*, *снежить* и *крылить*—и прочие мертворожденные ублюдки.

Эти неологизмы настолько не сходятся с общим стилем Игоря Северянина, по существу склонного к старинке и вообще довольно таки консервативного, что они врезаются в его лирику каким то инородным телом и совершенно определенно всегда *портят* его стихи, нарушая его забавную пошловатость и милую проторенность его путей.

Но больше ли останется от новых словечек Маяковского? Он ведь не так поверхностно нов, как Северянин, он искреннее душевно и сильнее литературно, его новизна глубже внешнего стиля, его неологизмы поэтому органичнее, они больше внедрились в самую ткань его произведений, они не

нарушают их гармонии или точнее их дисгармонии.

Нежные! Вы любовь на скрипки ло́жите
Любовь на литавры ло́жит грубый.

Он все ложит на литавры—в этой форме барабанности все его содержание—ложит, правда, не для улицы, где, действительно, уместны барабаны, а для культурного высоко-литературного общества, для тех нежных, которых, как известно, от пресыщения сластями тянет иногда на капусту, которые иногда чувствуют, что со всеми своими осенними скрипками и сладкогласными виртуозами они уперлись в стену. Надо оговориться: при этом Маяковский груб прежде всего для себя, потому что только в грубости, в яростной гиперболе, в безудерже преувеличения, в исступленной метафоре находит выражение и успокоение его болезненная чувствительность. Маяковский есть порождение не толпы, не демоса, не улицы, а очень развитой, очень тонкой литературы; оттого, и только оттого, он груб. Эмоциональная окраска словечек у Маяковского посвежее: у Северянина они сбиваются на салонный комплимент, у Маяковского больше на площадное ругательство, и внутренней необходимости в его словах больше: его стихов они не портят, его существо выражают. Войдут ли необычайности Маяковского в язык? Станем ли мы говорить *ложите, исслезенные* веки, *испешеходенная* грудь, как говорит наш «сегоднешнего дня *крикогубый* За-

ратустра». Станем ли употреблять уменьшительное от любовь *любеночек* и прилагательное от декабрь—*декабрый* вечер? Станем ли в неистовой тоске обличать ночь в том, что она по комнате *тинится и тинится*, а небо опять «*иудит* пригоршнью обрызганных предательством глаз»? В обиходе едва ли, в литературе—возможно. Окончательный приговор принадлежит времени. Во всяком случае, прогноз наш никак не должен исходить из экстравагантности новых словечек. Многое установилось и удержалось на нашей памяти, что при возникновении казалось жалкой и смешной однодневкой.

VI.

Да и так ли необычайны словечки футуристов? Нет ли в них рядом с кощунственным попранием стародавнего обычая—и некоторой верности этому обычаю? Мы ведь нашли у Даля десятки глаголов, точно сочиненных Игорем Северянином. Легко, конечно, сказать, что эти новшества не войдут в обиход потому, что слишком неожиданны, слишком смелы, слишком оскорбляют традицию граматики и хорошего вкуса. Но это не вполне верно. Есть здесь, конечно, словесные новинки, которые не могли укорениться в языке; они на это и не рассчитывали, и когда Крученых обратился к пошлому, застывшему миру с своим пламенным и могучим «будетлянским» призывом: «Дыр бул щур»,—то и он, конечно, не предпо-

лагал обогатить словарь; он был вне этого мелкого желания, он провозглашал новое Слово, а не бросал новые словечки.

Немотичей и немичей
Зовет взыскующий сущел,
И новым грохотом мечей
Ему ответит будущел.

Увы, кажется, поэту удалось призвать не столько *немотичей,* сколько *зевотичей;* именно потому, что мир состоит не из «немотичей и немичей», он ответил на всю эту отвагу не столько грохотом мечей, сколько тихим равнодушием. Но, вообще говоря, настоящего иконоборства, настоящего разрыва с традицией, настоящей антикультуры и не было по той простой причине, что их и не могло быть. Ибо хочет он этого или не хочет, всякий созидающий, как бы революционно, как бы даже нелепо, как бы безшабашно ни было его созидание, все таки как только входит в это созидание, тотчас должен ощутить, что вне связи с прошлым ничего не создать, что творить—значит примыкать к готовому, к сотворенному. Всякий, кто говорит новое слово—хоть бы он говорил его для самого себя—мы ведь прежде всего говорим и творим для самих себя—должен выковать это новое слово так, чтобы оно было понятно. В этом смысле *понятны* и немотичи, и именно потому, что хотят быть понятными.

Ведь вот даже тот самый манифест в «Пощечине общественному вкусу», который так буйно пропове-

дует увеличение словаря производными словами и неопреодолимую ненависть к существовавшему до сих пор языку, не замечает, что *производные* слова должны от чего нибудь *производиться* и что при непреодолимой ненависти к этому первоисточнику—к существовавшему до сих пор языку—ничего не произведешь. И в самом деле, сборник «Пощечина общественному вкусу», который начинается этим манифестом Маяковского и Крученых, заканчивается словарным законопроектом под заглавием: «Образчик словоновшеств в языке». Здесь предложено несколько десятков новых русских слов по части авиации—и, право, некоторые из них недурны, во всяком случае не хуже слова *летчик*, которое явилось в русском языке вместе с военной авиацией—и, почти окончательно вытеснив слово *авиатор*, едва ли станет скоро ненужным. Могли бы найти применение, например, *летбище* вместо аэродром, *двулетка* или *двукрылка* вместо биплан, *парило* вместо планер, *леток*—седок на аэроплане и т. д. Есть уродства: *летоука*—учение о полетах, *летеса*—дела воздухоплавания, *летутные* народы—искусные в воздухоплавании, *летины*—день полета. Но дело не в спорных удачах или неудачах, дело в том, что каждое из этих слов образовано по аналогии с существующим старым словом, и автор сам скромненько ссылается на эти аналогии. Предлагая *летун*, он в скобках прибавляет *бегун*, предлагая *летоба* он напоминает, что есть *учоба* и так далее: *летавица* от красавица, *летава*—держава, *лета*—

бега, *лтение*—чтение. Таким образом, начав с «непреодолимой ненависти к существовавшему до сих пор языку», «Пощечина общественному вкусу» кончает слабым ученическим подражанием его созданиям. Если бы не было слова веялка, Хлебников не посмел бы сказать *реялка*, если бы не было белизны, он не сочинил бы *летизны*. Так какая же это пощечина? Это подобострастие, это задние лапки, а не пощечина.

Пока что, ничего из этих задних лапок не выходит. Такова уж эта царственная твердыня—язык. Ни безшабашной отвагой гоголевского поручика, ни рабским преклонением пред его законами в него не проникнешь. Проникают в него больше те, кто об этом просто не думает. Железная печка, которую мы ставим на один зимний сезон—кто то сказал *времянка*, даже не знал, есть в языке такое слово или он его тут же сочинил—и оно осталось; кто то пошутил при этом: *буржуйка*—и оно осталось. *Шкурник, мешечник*—эти новые слова (шкурник, я думаю, останется навеки, великолепное слово) создались так естественно, так самопроизвольно, что и автора не надо было. Беру «Красную Газету» (26. V. 1921. № 92). В ней статья Кузьмина начинается словами: «Я получил анонимку»; думал он над этим новым словом, сочинял его? Конечно, нет. Почему он не сказал по старому «анонимное письмо»? Да *он* и не сказал, оно само сказалось, стиль места и времени его образовал. Не сказал бы один, сказал бы другой.

Слово *нигилист*, которое приписывают Тургеневу (сам Тургенев говорит «выпущенное мной слово нигилист»), имеет, как известно, длинную историю, восходящую к средним векам. У немцев, которые тоже связывают его с именем Тургенева, оно повторялось в разных смыслах с начала XIX века. Но важно не то, кто у кого его взял; наоборот, совершенно основательно указывает Вундт, что никакого заимствования, верно, и не было: всякий раз было самостоятельное новообразование. Есть такие слова—и теперь таких особенно много: они сами родятся, потому что не могут не родиться: просто в насыщенном растворе сами родятся кристалы. Им не нужны авторы.

Обидно футуристам, обидно имажинистам, обидно поэтам. Люди волнуются, надрываются, пыжатся, мир хотят перевернуть, сочиняют у письменного стола такие удачные словечки, и эти превосходные словоновшества умирают, а шкурник и мешечник танцулька и массовка здравствуют.

О, небо,
Где ж правота, когда священный дар,
Когда безсмертный гений—не в награду
Любви горящей, самоотверженных
Трудов, усердия, молений послан,
А озаряет голову безумца,
Гуляки праздного.

И хоть бы безумец,—а то просто улица, скопище ничтожеств, безликая бездарь. Не даром улица есть

и излюбленный предмет футуристской поэзии и ее словотворческий идеал—увы, недосягаемый.

Надо утешить поэтов. Прежде всего им должно укрепиться в мысли, что хотя художественная литература вся в творчестве слова, однако создание новых слов не ее основное дело. Она влияет на язык, но влияет не иначе, как хороший садовод на культуру растений: дикое, яблоко он может довести до великолепного кальвиля, но создать дикое яблоко ему не под силу; он может улучшить породу, но не сотворить ее. Меньше всего может сделать поэзия для внедрения нового слова в обиход—гораздо меньше, чем техника, чем наука и даже чем начальство. Ее словотворчество лишено той принудительности, какую имеют слова науки и техники. Там не слова, там термины, а у поэзии нет терминов. Наука находит новое явление, новую категорию, техника изобретает новый механизм, власть создает новое учреждение, и вместе с этими новшествами даны их названия, и названия эти должны войти в употребление. Ученый говорит: это перекись водорода, это предложный падеж, это бином Ньютона, это антисептика, это молекула, это дедукция. Техника создает новые орудия сбережения человеческой силы и называет их: это наковальня, это турбина, это анилин, это аэроплан. Власть создает новые институты и называет их: это проконсул, это боярская дума, это дееспособность, это государственная роспись, это комиссар, это домкомбед. Слово вообще подвижно, неопределенно, ёмко: слово никогда не

имеет одного значения, потому что все значущее многозначно. Но здесь—в том виде, как оно дано, в той цели, с которой оно дано, нет никакой ёмкости, никакой многозначности. Термины должны быть определенны, а определение, т. е. ограничение есть отрицание подвижности, безпредельности. За то здесь есть обязательность. Нельзя назвать кислород, мирового судью, аспирин, водопровод как нибудь иначе и нельзя не называть их никак: этого повелительно требует обиход, этого требует быт. Но поэзия не отвечает требованиям бытового обихода, она отвечает требованиям мысли и чувства; ее необходимость не так абсолютна, не так повелительна. Ее новые слова не термины; они безконечно нужны творящему человеку, они нужны участвующему в его работе сотворческому множеству, они нужны писателю и нужны читателю, но их неизбежность есть неизбежность иного порядка, в ней нет ни тени той внешней повелительности, какая присуща новообразованиям технической изобретательности, научной терминологии, политического строительства. Влияние литературного слова сказывается не в том, что оно непременно остается; оно сказано было однажды и, быть может, останется однажды сказанным. Но воздействие его несомненно: оно выразило новое ощущение, оно выразило новую мысль, и эта новая форма нового настроения не пройдет безследно. Привьется слово поэта или не привьется, это дело не только его силы, его выразительности, его удачности;

здесь могут действовать еще десятки привходящих условий; но останется впечатление им произведенное и так или иначе скажется. Может остаться и новый метод, новый принцип. Если потребность в новых средствах поэтического выражения назрела, то эти новые средства неизбежны. Да, быстро умирают отдельные словечки футуристов, но там и сям проскальзывают новые словообразования, за которыми чувствуются новые начала, новое отношение к литературному слову. Сегодня только чувствительный— слишком чувствительный—Андрей Белый поддался этому влиянию, но влияние это—пока что в лирике— есть, и очень возможно, что язык поэзии воспользуется кой чем из того, что в озорной форме предложено новаторами. Пройдет это первичное озорство, пройдет преднамеренная крикливость, наше ухо привыкнет к рекламному визгу, явятся эклектики, которые смягчат первоначальное впечатление, и новое в поэтическом языке покажется нам обычным, заурядным, пошловатым.

Надо только помнить, что новые слова творят не литературные творцы, что повседневная речь живет вне гениальных создателей, что оставшиеся в языке новые слова часто остаются не потому, что создатели их были очень талантливы, но потому, что они раздались в подходящий момент, пришлись кстати, а то и просто были сказаны громко. Как долго было необходимой категорией в русской публицистике словечко *третий элемент*, а удачливым

создателем его был не мыслитель, не публицист, а просто действительный статский советник Кондоиди. От усмирителя московского восстания Дубасова осталось *за пределами досягаемости*, от его высокого повелителя *безсмысленные мечтания*. Но не высокое творчество сделало эти слова крылатыми, а место с которого они были сказаны.

И улица творит слова, потому что они громко на ней раздаются. То, что язык обиходный, уличный, городской чем дальше, тем святотатственнее нарушает все правила пристойной граматики и стилистики, тем тягостнее становится для уха образованного человека, совершенно естественно. Это язык перелома, язык перехода от одних культурно-бытовых форм к другим. Без всякого тяготения к парадоксам можно сказать, что чем народ грамотнее, тем безграмотнее. Ибо всеобщая грамотность есть неизбежно полуграмотность, образование—при широком его разливе—полуобразование. А полуобразование, образование городских низов, редко останавливается в достойных пределах; слишком часто оно вырождается, а это лакейское образование самодовольных и чего то нахватавшихся невежд и есть ведь главный источник оскорбительной новинки.

Показателем культуры служат не эти новинки—их везде достаточно—но отношение к ним верхов, грамотность этих верхов. Принято обвинять газеты в порче языка; обвинение это не очень тяжко потому, главным образом, что заслуги прессы в создании

языка громадны; но русская печать за немногими исключениями была, в самом деле, всегда менее грамотна, чем европейская; теперь же уровень ее в этом отношении понизился до чрезвычайности — и вместо того, чтобы быть школой языка для новых читательских масс, она развращает их стиль и мысль своей неправильностью, неточностью выражения, неспособностью оценить подлинный смысл и удельный вес употребляемого слова. Примеры не трудно найти на каждом газетном столбце. Беру случайный и—намеренно—не слишком грубый пример. Предо мною заметка из «Красной Газеты» (10 марта 1921 г.). Здесь говорится о производстве «работ по электрофикации громадной площади земли», об «усовершенствовании электрофикации бывшего (sic!) имения кн. Николая Николаевича», о том, что в 18 совхозах Петроградской губернии «устраивается новая электрофикация». Репортер, давший эту заметку, и редакция, ее напечатавшая, очевидно совершенно не ощущают, что электрификация есть процесс перехода от какой нибудь силы к электрической, а не законченное уже применение электричества к каким нибудь работам, и что поэтому никак нельзя нашу электрификацию ни усовершенствовать, ни восстановить, ни устроить новую—все это надо выразить иначе. И грамотность здесь будет не педантическая верность каким то книжным законам стилистики, а отчетливость мысли.

Кстати о грамотности в конструкции этого столь употребительного термина. Почему электрофикация,

а не электрификация? Откуда это *о*? Мы говорим: фальсификация, руссификация, мистификация, фортификация, ратификация, квалификация, гратификация и т. д. Чего же ради и на каком основании электрификация будет исключением? Можно и должно говорить электромотор, электродвигатель, электромеханик и т. д. во всех комбинациях, но не в сочетании с производными от facio.

Но напрасны эти напоминания: они обращены к глухим—сила обычно глуха к таблице умножения и гибнет она от столкновения с таблицей умножения. В недавно опубликованных воспоминаниях Витте рассказывается, что Николай II ненавидел самое слово интеллигенция. «Во время его поездки по Северо-Западному краю как то зашла за обедом речь об интеллигенции. Царь, крайне недовольный темой беседы, гневно сказал: «Я прикажу академии наук вычеркнуть это слово из русского словаря». Академия, верно, послушалась бы, но послушался-ли бы язык? Просто трогательна эта уверенность громадной власти, что всегда и везде стоит только приказать. *Цари всегда секут море.* Николай II забыл или не знал, что Павел I уже приказал вместо слова *отечество* говорить *государство,* вместо *гражданин — подданный* и т. д. Результат был один.

VII.

К сожалению, в области, о которой идет речь, сила разумного довода не многим выше силы принужде-

ния, *власть разума не выше разума власти.* В том то и беда, что ревнителей чистоты и правильности родной речи, как и ревнителей добрых нравов, никто слушать не хочет. Они почтенны для тех, кому не говорят ничего нового, и неслышны тем, кто нарушает их высокие заветы. За них говорят граматика и логика, здравый смысл и хороший вкус, благозвучие и благопристойность, но из всего этого натиска граматики, риторики и стилистики на безшабашную, безобразную, безоглядную живую речь не выходит ничего. Конечно, часто новизна в языке отвратительна, потому что неправильна, поверхностна, безвкусна, потому что свидетельствует о чуждом и неприятном нам строе мысли. Поверхностность—вот что чаще всего оскорбляет нас в новом словечке. Не в том дело, что оно отказывается от почтенной старины, но в том, что отказывается от нее, на наш взгляд, без всякой внутренней необходимости. Лишь бы новое, а какое новое—все равно. Так у дикарей, как известно, словарь претерпевает радикальные изменения на протяжении одного-двух поколений. И чаще всего наше чувство протестует не столько против самых словечек, сколько против того, что за ними. Их неточность и неправильность, их безграмотность и чужеродность не были бы так несносны, если бы не были очевиднейшим выражением внутренней пошлости и кривляния, неискренности и легкости в мыслях необычайной. Иногда они исчезают так же легко, как появляются, иногда остаются, но тревожат нас

при появлении неизменно. Это удобрение, которое наваливают пред нашими окнами; возможно, что на нем выростут и благоуханные цветы и полезные овощи. Но пока что дышать тяжело. Минувшей весной—в связи с фабричными волнениями и кронштадтскими событиями—по газетам запестрели словечки: *волынка, волынщик, волынить*; весьма возможно, что эти более или менее новые обозначения довольно старого российского явления останутся в обиходе. Но тут же выплыли из матросского жаргона *жоржики, буза, клёши,* клёшная психология, и даже клёшная истерика,—и я думаю, что это лингвистическое отражение матросской моды (штаны cloche) русского словаря не обогатит. И, конечно, не потому, что звучит оно гнусно, но потому, что слишком тесно связано с преходящим, с моментом. Это бранное слово ad hominem, на четверть часа. А хорошо оно или не хорошо, о том нас не спрашивают. Доводы от разума, науки и хорошего тона действуют на бытие таких словечек не больше, чем курсы геологии на землетрясение. С течением времени их безсмысленность и безвкусица стираются в обиходе, становясь доступными только изощренному чутью и историческому исследованию, и они рассасываются в мощном организме языка.

В истории французского языка, столь замечательной именно вниманием и строгостью к чистоте, правильности и пристойности литературной и обиходной речи—десятки примеров того, как входили в

употребление слова, решительно отвергнутые знатоками и ценителями. Малерб позволил себе ввести слово *insidient*. Академия долго не принимала его, находя «неприятным и противным». Создано слово *exactitude*; «чудовищем было оно для меня при его рождении, и, однако, к нему привыкли» — говорит Вожла, один из создателей академического словаря. *Savoir-faire* — виднейший знаток, отец Буур говорит: «это новое слово не удержится и, быть может, уже вышло из употребления»; с тех пор прошло два с половиной века, и слово живет и проживет еще много веков. Вольтер отвергал *persifler, mystifier, égaliser*. Когда сто лет тому назад французская Академия обсуждала, должен ли войти в ее словарь глагол *baser*, то философ и политик Ройе-Коллар воскликнул: «если оно войдет, то я выйду!» Но оно вошло. Не даром и политическая партия, руководимая Ройе-Колларом, носила название *доктринеры*. Пред лицом живых явлений как страшно быть доктринером. Лет двадцать пять тому назад слово «открытка» казалось мне типичным и препротивным созданием одесского наречия; теперь его употребляют все, и оно действительно потеряло былой привкус пошлой уличной бойкости. Этот суффикс знаменует легкое отношение, бесцеремонность, пренебрежение. Совершенно правильно, в духе своих воззрений отвергающие Учредительное собрание говорят *учредилка*. По этому суффиксу можно представить себе психологию и даже возраст того, кто воспользовался им при словообра-

зовании. Кто впервые сказал *курилка, столовка, Мариинка, зажигалка, проколка?* Конечно, не пожилой человек с спокойным темпераментом, с охранительным мироощущением, с бережным вниманием к языку, а человек живой, молодой духом, торопливый, бойкий. Но будущее принадлежит молодости, и до какой степени мы зависим от принятого, от обычного, видно, например, из того, что Мариинка нас возмущает, Александринка коробит меньше, к предварилке мы привыкли, а московские улицы—Варварка, Ильинка, Лубянка и даже—сколь неуважительно — Покровка, Сретенка, Воздвиженка кажутся просто незаменимыми. В Москве Знаменка и Владимирка естественны, но дурным тоном показалось бы нам, если бы так назвали в Петербурге Знаменскую и Владимирскую: так условны эти причуды языка, так из бытовых *грубостей* они становятся психологическими и стилистическими *тонкостями.*

Когда перевалишь далеко за середину жизненной дороги, не легко миришься с новшествами, необходимость которых кажется сомнительной и даже, например, слово «*выявлять*», появившееся в начале нового века, до сих пор не приемлемо для моего словаря. Само по себе оно не плохо и выражает известный оттенок мысли, но оно было и остается не серьезным, оно запечатлено умничающей позой, ложным притязанием на глубину, погоней за модой, теми интеллигентскими «исканиями», за которыми нет никакой жажды истины и чувства ответственности—и

меня неизменно коробит это словечко. Я не одинок в этом ощущении, но из этого нашего ощущения ничего не воспоследует: слово прижилось и останется, и облагородится давностью. Останется, верно, и *извиняюсь*,—но неужто останется *пока?* Последнее появилось недавно—во время войны—в известных кругах вместо «до свидания» стали говорить «пока», и этот перевод немецкого einstweilen или французского à bientôt ужасает. Но этот эстетический ужас безсилен. С ним совершенно не считается бойкая девица, упоенная своим бойким туалетом и своим бойким словарем. Лет пять назад *извиняюсь* вызвало целую полемику. Явилось это выражение на улице, но нашло литературных сторонников, которые ссылались на то, что его употреблял еще чеховский дядя Ваня. С обычным благородством «Новое Время», в арсенале которого лингвистическая демагогия всегда занимала видное место, наряду с доводами от науки, патриотизма и хорошего тона, выдвинуло также аргументы сыскного порядка: ученый противник нового выражения установил, что одного из его сторонников зовут Эдуард Карлович; это было, конечно, существеннее ссылок на этимологию и патетических восклицаний: «Целесообразно ли и достойно ли русского человека, сознательного и себя уважающего, пользоваться выражением, по недоразумению пущенным в ход не русским... Не будем же портить нашего чудного языка. Пусть подобные несуразные искажения речи не идут далее обихода и моды трамвайных

кондукторш и прилавка». И с дядей Ваней пурист «Нового Времени» разделался легко: то, что герой Чехова употребляет это выражение, не есть для него доказательство законности его; «разумеется—уверяет он—такая находка свидетельствует только о наблюдательности нашего писателя в сфере воспроизведения характера и контрастов речи в устах разных слоев народа, а отнюдь не есть освящение Чеховым этого выражения для языка литературного». Эти «уста разных слоев народа» (хорош стиль!) безшабашная передержка. Нововременский пурист, очевидно, пытался внушить мысль, что дядя Ваня принадлежит к этим презренным слоям народа, и речь его столь же мало может служить образцом правильности и литературности, как и речь трамвайной кондукторши, приказчика и т. д. Увы, мы слишком хорошо знаем Чехова и любим дядю Ваню, чтобы забыть, что Иван Петрович Войницкий—дядя Ваня—культурный человек, сын тайного советника и сенатора, коренной русский, прекрасно владеющий родным языком. Если выражение «извиняюсь»—он употребляет его дважды в разговорах с разными лицами—«свидетельствует о наблюдательности» Чехова, то это значит, что *двадцать пять лет* тому назад просвещенный русский человек, принадлежащий к высшему обществу—по удостоверению достовернейшего свидетеля—употреблял выражение «извиняюсь». После этого, казалось бы, едва ли можно настаивать на том, что словечко это «противно духу русского языка».

Должен, однако, покаяться: доводы нововременца мне кажутся нечестными, но и свидетельство Чехова— не решающим дела. Погрешности Чехова против чистоты русской речи отмечались не раз. Он вырос на юге в междуплеменном Таганроге, учился в греческой школе, и надо удивляться, что погрешностей этих не оказалось в его речи гораздо больше. Да и у кого из русских классиков—начиная с Пушкина— нет этих погрешностей? Что Чехов говорит «она выглядывает семнадцатилетней» («Он и она») это еще куда ни шло: классик употребил провинциализм, который может войти в литературную речь; вчера это была погрешность, завтра это канон: ничего не поделаешь. Но что Гаев («Вишневый сад») старый барин, помещик, помнящий крепостное право, говорит: «Ты, Люба, выглядишь лучше»—это промах художника. Чеховы так говорили, Гаевы—едва ли.

Чехов родился в мещанской семье, был сидельцем в отцовской мелочной лавчонке,—и, однако, душевной тонкостью и какой то культурной подлинностью запечатлен для нас его облик. По собственному признанию, он «выдавливал из себя раба»,—хотя надо помнить, что и вся семья Чеховых, как она выясняется в литературе, безконечно далека от какой-либо низменной пошлости и грубости. Вот если бы словечко «извиняюсь»—родившись вместе с Чеховым в низах, но преодолев, как он, внутреннего хама, не носило слишком явных следов своего существа, с ним легче было бы примириться. Дело совсем не в том,

что оно не соответствует духу русского языка—какой уж это дух, если его и Чехов не чувствовал, — а в том, что оно слишком соответствует духу нашей современности. Слишком очевидно, что в новейшем употреблении это выражение получило новый оттенок смысла. Когда дядя Ваня, взволнованно и задушевно, говорил любимой женщине: «Ну, моя радость, простите, извиняюсь», он в самом деле чувствовал себя виноватым и просил об извинении. Теперь это выражение стало безсознательным, почти междометием, и улица, бросая его, не вкладывает в него былого содержания. Если вам в трамвае говорят «извиняюсь», то это значит только, что толкнув вас однажды, вас толкнут дважды и трижды... Слово произнесено, но смысл в него не вложен. Как же не протестовать против него? Оно победило нас, но не убедило.

VIII.

Так неизбежно мы колеблемся между ощущением, что слово отвратительно, и сознанием, что оно неотвратимо, от убеждения в его беззаконности приходим к утверждению какой то его законности. Правомерны обе наши тенденции: это прогрессивность и консерватизм, это вдыхание и выдыхание человеческой мысли. Оттого неизменно борьбу приходится вести на два фронта, равно непоколебимых. Если иметь в виду непосредственные цели, то, мы знаем,

борьба с так называемой порчей языка безнадежна, как борьба с его чистильщиками. Пуризм—как всякий консерватизм—есть вещь почтенная и неистребимая, очень нужная и очень мало творческая. Консерватизм есть некоторое недоверие — недоверие к свободной игре человеческих сил, в которой творчество. Непосредственных целей своих он не достигает. Сколько ни скажи разумных слов против глупых и наглых слов, как ухажер или танцулька, они—мы это знаем — оттого не исчезнут, а если исчезнут, то не потому, что эстеты или лингвисты ими возмущались.

Но не умрет и сказанное по их поводу разумное слово: сомневаться в этом значило бы сомневаться в человеческой мысли. Оно не подействует непосредственно, но отклики его будут живы. Пуризм естествен—это главное, и нет причин отвергать его; надо только придать ему должную гибкость, надо осознать его пределы и его возможности, надо отказаться от дурной привычки механически ссылаться на свой тонкий вкус, на свое неразложимое чутье. Все это надо сделать осмысленным и жизненным. Мало чуткости к старому, нужна и чуткость к новому. Пусть новое слово, созданное потому, что оно было действительно необходимо, легко убедит нас в этой своей необходимости. Дело человеческое, оно может быть удачно и неудачно, но если в нем есть отзвук его неизбежности, если оно очевидно заполняет какой то пробел, если оно хотя бы своим новым звуком вы-

ражает какой то новый—пусть ничтожнейший—оттенок ощущения или мысли, мы не встретим его непримиримым отрицанием. Но, если этого нет, то отвращение к нему неизбежно и борьба с ним правомерна. Ибо это борьба не против слова, а против того, что за ним: против душевной пустоты, против попытки заткнуть словом прорехи мысли и совести. Мы можем помнить, что судьба нового слова не зависит ни от нашего разумного негодования, ни от нашего эстетического одобрения. Но мы не можем и не должны отказываться от себя, от своего здравого смысла, от своего вкуса, от своего пуризма, не педантского, не наступательно-реакционного, не шовинистского, но пуризма культурного, благожелательного, гибкого, связывающего традицию прошлого с творчеством будущего.

Да, вкус и верность граматике, уважение к традиции и словесной благопристойности не создали ничего, но не раз они направляли создание. Для того и обороняют границы родной страны, чтобы в ее пределах в свободном проявлении развивались творческие возможности. Пусть безплодны и даже вредны наши попытки бороться со стихией, мы не безсильны в попытках овладеть ею и подчинить ее высшим целям. Нельзя загородить поток, но можно направить его. Нельзя искоренить ни пошлое тяготение к новым словечкам, ни озлобленную ненависть к новому слову, но можно учить людей разумно и бережно относиться к своему языку.

Лишь немногие услышат это старое слово в то время, как тысячи соблазнятся новым словечком, но когда этим тысячам нужно будет подлинное новое Слово, они придут за ним к этим немногим.

